

Александр Костюнин

РУКАВИЧКА

(эссе)

«Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;

И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,

Говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам.

И, бросив сребrenники в храме, он вышел, пошел и удавился».

Евангелие от Матфея

25:1–5

Нельзя сказать, чтобы я часто вспоминал школу. Мысли о ней, как далекие сказочные сюжеты, как отстраненное событие какой-то совсем другой жизни, с трудом пробивались сквозь напыление времени.

Я не был отличником – хорошие отметки со мной не водились.

Сейчас понимаю: могло быть и хуже. В пять лет, всего за два года до школы, я вообще не говорил по-русски. Родным для меня был язык карельский. И дома, и во дворе общались только на нем.

Десятилетняя школа была тем первым высоким порогом, за которым и жаждал я увидеть жизнь новую, яркую, возвышенную. Заливистый школьный звонок, свой собственный портфель, тетрадки, первые книжки, рассказы о неизведанном, мальчишеские забавы после уроков – все это, словно настезь распахнутые ворота сеного сарая, манило меня на простор. При чем здесь отметки?

Тридцать лет прошло.

Повседневные заботы, реже радости, полупрозрачной дымкой затягивают детство. Годы наслаиваются как-то незаметно, как древесные кольца. И с каждым новым слоем, вроде бы ничего не меняется, а всё же разглядеть глубь труднее. И только необъяснимым на-ростом: причудливым капом на гладком стволе памяти, ядовитым грибом или лечебной чагой – выступают из прошлого лица, события, символы...

Не знаю, почему уж так сложилось, но ярче всего со школьных лет запомнился мне случай с рукавичкой.

Мы учились в первом классе.

Анна Георгиевна Гришина, наша первая учительница, повела нас на экскурсию в кабинет уроков труда. Девчонки проходили там домоводство: учились кашу варить, учились шить, вязать. Это не считалось пустым занятием. Купить одежду точно в свой размер было нелегко. Донашивали от старших. Жили все тогда туго. Бедовали. Способность мастерить ценилась.

Как стайка взъерошенных воробьев, мы, смущаясь и неловко суетясь, расселись по партам. Сидим тихо, пилькаем глазенками.

Учительница по домоводству сначала рассказала нам о своем предмете, поясняя при необходимости на карельском, а затем пустила по партам оформленные альбомы с лучшими образцами детских работ.

Там были шитые и вязаные носочки, рукавички, шапочки, шарфики, платица, брючки. Все это кукольного размера, даже новорожденному младенцу было бы мало. Я не раз видел, как мать за швейной машинкой зимними вечерами ладила нам обнову, но это было совсем не то...

Мы, нетерпеливо перегибаясь через чужую голову, разглядывали это чудо с завистью, пока оно на соседней парте, и с удовольствием, сколь можно дольше, на полных правах рассматривали диковинку, когда она попала нам в руки.

Звонок прогремел резко. Нежданно.

Урок закончился.

Оглядываясь на альбом, мы в полном замешательстве покинули класс.

Прошла перемена и начался следующий урок. Достанем учебники. Ноги еще не остановились. Еще скажут. Голова следом. Усаживаемся поудобнее. Затихающим эхом ниспадают до шепота фразы. Анна Георгиевна степенно встает из-за учительского стола, подходит к доске и берет кусочек мела. Пробует писать. Мел крошится. Белые хрупкие кусочки мелкой пылью струятся из-под руки.

Неожиданно дверь в класс резко распахивается. К нам не заходит – вбегает – учительница домоводства. Прическа сбита набок. На лице красные пятна.

– Ребята, пропала рукавичка! – И, не дав никому опомниться, выпалила: – Взял кто-то из вас...

Для наглядности она резко выдернула из-за спины альбом с образцами и, широко раскрыв, подняла его над головой. Страничка была пустая. На том месте, где недавно жил крохотный пушистый комочек, я это хорошо запомнил, сейчас торчал только короткий обрывок черной нитки.

Повисла недобрая пауза. Анна Георгиевна цепким взглядом прошлась по каждому и стала по очереди опрашивать.

– Кондроева?

– Гусев?

– Ретукина?

– Яковлев?

Очередь дошла до меня... двинулась дальше.

Ребята, робея, вставали из-за парты и, понуриив голову, выдавливали одно и то же: «Я не брал, Анна Георгиевна».

– Так, хорошо, – иезуитским тоном процедила наша учительница, – мы все равно найдем. Идите сюда, по одному. Кондроева! С портфелем, с портфелем...

Светка Кондроева, вернувшись к парте, подняла с пола свой ранец. Цепляясь лямками за выступы парты, она, не мигая уставившись на учительницу, безвольно стала к ней приближаться.

– Живей давай! Как совершать преступление, так вы герои. Умейте отвечать.

Анна Георгиевна взяла из рук Светки портфель, резко перевернула его, подняла вверх и сильно потрянула. На учительский стол посыпались тетрадки, учебники. Резкими щелчками застрекотали соскользнувшие на пол карандаши.

А сухие, музыкальные пальцы Анны Георгиевны портфель всё трясли и трясли.

Выпала кукла. Уткнувшись носом в грудь учебников, она застыла в неловкой позе.

– Ха, вот дура! – засмеялся Леха Силин. – Ляльку в школу притащила.

Кондроева, опустив голову, молча плакала.

Учительница по домоводству брезгливо перебрала нехитрый скарб. Ничего не нашла.

– Раздевайся! – хлётко скомандовала Анна Георгиевна.

Светка безропотно начала стягивать штопаную кофтенку. Слезы крупными непослушными каплями скатывались из ее опухших глаз. Поминутно всхлипывая, она откидывала с лица косички. Присев на корточки, развязала шнурки башмачков и, поднявшись, по очереди стащила их. Бежевые трикотажные колготки оказались с дыркой. Розовый Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя напоказ всему, казалось, миру. Вот уже снята и юбчонка. Спущены колготки. Белая майка с отвисшими лямками.

Светка стояла босая на затоптанном школьном полу перед всем классом и, не в силах успокоить свои руки, тербила в смущении байковые панталончики.

Нательный алюминиевый крестик на холщовой нитке маятником покачивался на ее детской шейке.

– Это что ещё такое? – тыкая пальцем в крест, возмущалась классная. – Чтобы не смела в школу носить. Одевайся. Следующий!

Кондроева, шлёпая босыми ножками, собрала рассыпанные карандаши, торопливо сложила в портфель учебники, собрала в комок одежонку и, прижав к груди куклу, пошла на цыпочках к своей парте.

Ребят раздевали до трусов одного за другим. Больше никто не плакал. Все затравленно молчали. Обыскивая по очереди учеников, женщины лишь изредка отдавали порывистые команды.

Моя очередь приближалась. Впереди двое.

Сейчас трясли Юрку Гурова. Наши дома стояли рядом. Юрка был из большой семьи, кроме него ещё три брата и две сестры. Сестрёнки младшие. Отец у него крепко пил, и Юрка частенько, по-соседски, спасался у нас.

Портфель у него был без ручки, и он нес его к учительскому столу, зажав под мышкой.

Неопрятные тетрадки и всего один учебник – вылетели на учительский стол. Юрка стал раздеваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил стоптанные ботинки, затем носки и, неожиданно остановившись, разревелся в голос.

Аннушка стала насильно вытряхивать его из майки, и тут на пол выпала маленькая синяя рукавичка.

– Как она у тебя оказалась? Как?! – тыкая рукавичкой в лицо, зло допытывалась Анна Георгиевна, наклонившись прямо к Юркиному лицу. – Как?! Отвечай!..

– Миня эн тыйе! Миня эн тыйе! Миня эн тыйе... – лепетал запуганный Юрка, от волнения перейдя на карельский язык.

– А, не знаешь?! Ты не знаешь?! Ну, так я знаю! Ты украл ее. Вор!

Юркины губы мелко дрожали. Он старался не смотреть на нас. Класс молчал. Это была страшная картина.

Как после этого смог бы жить я? Не знаю...

Мы вместе учились до восьмого класса. Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но это уже не имело значения. Клеймо «вор» раскалённым тавром было навеки поставлено деревней на нем и на всей его семье. Можно смело сказать, что восемь школьных лет обернулись для него тюремным сроком.

Он стал изгоем.

Никто из старших братьев никогда не приходил в класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-человечески унижали. Плюнуть в Юркину кружку с компотом, высыпать вещи из портфеля в холодную осеннюю лужу, закинуть шапку в огород – считалось подвигом. Все задорно смеялись. Я не отставал от других. Биологическая потребность возвыситься над слабым, заложенная с рождения в каждом человеке, брала верх.

Человек хуже животного, когда он становится животным.

Роковые девяностые годы стали для всей России тяжелым испытанием. Замолкали целые города, останавливались заводы, закрывались фабрики и совхозы.

Люди, как крысы в бочке, зверели, вырывая пайку друг у друга. Безысходность топили в палёном спирте.

Воровство крутой высокой волной накрыло карельские деревни и села. Уносили последнее: ночами выкапывали картошку на огородах, тащили продукты из погребов. Квашеную капусту, банки с вареньем и овощами, заготовленные до следующего урожая свеклу и репу – выгребали подчистую.

Многие семьи зимовать оставались ни с чем. Милиция бездействовала, а люди тем временем подходили к черте, за которой начинался самосуд.

Однажды терпению односельчан пришел конец. Было решено не ждать спасительного чуковского «воробья». Воров решили наказать судом своим.

Разбитый совхозный «Пазик», тяжело буксуя в рыхлом снегу, сначала передвигался по селу от логова одного бандита к другому, а потом выехал на проселочную дорогу. Семеро крепких мужиков, покачиваясь в такт ухабам, агрессивно молчали. Парок от ровного дыхания бойко курился в промозглом воздухе салона. На металлическом, с блестящими залысынами полу уже елозили задом по ледяной корке местные воры. Кто в нашей деревне не знал их по именам? Их было пятеро: Леха Силин, Каредь, Зыка, Петька Колчин и Юрка Гуров – это они на протяжении последних восьми лет безнаказанно тянули у односельчан последнее.

Не догадывалась об этом только милиция.

Руки не связывали – куда денутся? Взяли их легко, не дав опомниться. Да и момент подгадали удачно – в полдень. После ночной работы самый сон.

«Пазик» урча направился за село, по лесной просёлочной дороге.

В пути молчали. Каждый сам в себе. Все было понятно без слов. Ни в прокуроры, ни в адвокаты никто не рвался.

На пятом километре остановились. Здесь дорога шла прямо по берегу лесного озера Кодаярви. Двигатель заглушили. Вытолкнули гостей на снег. Дали две пшени и приказали рубить по очереди прорубь.

Погода тем временем развеялась. Выглянуло солнышко, ласково, как мне показалось, наблюдая за нами. Мороз к вечеру стал крепчать. Топить воров никто не собирался, а хорошенько проучить их следовало. Есть случаи, в которых деликатность неуместна... хуже грубости.

В совхозном гараже мы распили две бутылки прямо из горлышка. Стоя. Кусок черствого ржаного хлеба был один на всех. Мы пили за победу.

Я этим же вечером уехал в город, а наутро из деревни позвонили: Юра Гуров у себя в сарае повесился...

Если бы не этот звонок, я бы, наверное, так и не вспомнил про синюю рукавичку.

Чудодейственным образом отчётливо, как наяву, я увидел плачущего Юрку, маленького, беззащитного, с трясущимися губами, переступающего босыми ножонками на холодном полу...

Его жалобное «Миня эн тыйе! Миня эн тыйе! Миня эн тыйе...» оглушило меня.

Я остро, до боли, вспомнил библейский сюжет: Иисус не просто от начала знал, кто предаст Его. Только когда Наставник, обмакнув кусок хлеба в вине, подал Иуде, только «после сего куска и вошел в Иуду сатана». На профессиональном милицейском жаргоне это называется «подстава».

Юрка, Юрка... твоя судьба для меня как укор... И чувство вины растёт.

Что-то провернулось в моей душе. Заныло.

Но заглушать эту боль я почему-то не хотел...

«...На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».

Евангелие от Луки святое благовествование

